

Об истоках своей коллекции, «вечерах забытых поэтов» и знакомстве с Ахматовой и Харджиевым

<http://oralhistory.ru/talks/orh-1852>

🗣 27 февраля 2015

Собеседник

Григорьянц Сергей Иванович

Ведущий

Григораш Алена Владимировна

Дата записи

Беседа записана 27 февраля 2015 и опубликована 22 марта 2016.

Введение

Трудно охарактеризовать Сергея Григорьянца каким-то одним словом. Он активный участник советского (и постсоветского) правозащитного движения, отсидевший в советских тюрьмах два срока общей длительностью около девяти лет. Он крупный специалист в области искусства XX века, литературовед, знаток творчества Варлама Шаламова и Андрея Белого. Он публицист, активно реагирующий на страницах своего сайта на последние события в России, а также размышляющий о недавнем прошлом, свидетелем которого был. Наконец, Сергей Григорьянц — обладатель невероятной коллекции произведений искусства разных эпох.

В первой беседе Сергей Григорьянц рассказывает о своих предках, которые испокон веку интересовались искусством. «Я вырос, — говорит Григорьянц, — среди бесспорного уважения к культуре и некоторых коллекционных страстей бесспорных». Впрочем, в этой беседе разговор лишь слегка касается собственно коллекции и переходит к «вечерам забытых поэтов», которые Сергей Иванович проводил в 1960-е годы, выставке художников русского авангарда знакомству с Анной Ахматовой и Николаем Харджиевым и другими искусствоведами и коллекционерами, известными в 1960-е годы.

Алена Владимировна Григораш: Добрый день. Сегодня 27 февраля, и мы ведем беседу с Сергеем Ивановичем Григорьянцем, не только замечательным правозащитником, но и очень интересным коллекционером. Сергей Иванович, расскажите, пожалуйста, о том, как вы пришли к коллекционированию. Началось ли все с детства — ведь все мы родом из детства. Расскажите немножко, пожалуйста, о своей семье.

Сергей Иванович Григорьянц: У меня семья очень, я бы сказал в полном смысле этого слова, имперская, где перемешались самые разные крови, где перемешались самые разные, но в значительной степени старые семьи, хотя как раз семьи своего отца я не знаю. Моя мать была замужем за моим отцом всего один год. Я родился в 41-м году, и он, будучи адвокатом, уехал в командировку во Львов, и там его застала война. У меня есть разные предположения о том, что было дальше, но это уже чисто семейные воспоминания. Так или иначе, я родился... Я рос с мамой и бабушкой в семье, где центром, конечно, была всегда русская культура. И бабушка моя была из довольно старинной, известной с начала XVII века воронежской семьи Перевозниковых. По преданию, какой-то мой предок перевозил «тушинского вора», за что и получил это воронежское поместье.



Елизавета Константиновна Шенберг (Перевозникова) (бабушка)

А с другой стороны мой прадед, ее отец, как человек, находящийся в центре общественных движений в 70-е годы XIX века, добровольцем ушел на Турецкую войну. И этот его портрет — это портрет на Турецкой войне в болгарской шапочке. По преданию, поленовский... Там как раз, будучи студентом и корреспондентом «Биржевых ведомостей», был автором корреспонденций о картонных подошвах

у русских солдат. Это были, помню, скандальные корреспонденции, настолько, что он был сослан в Ташкент, только что завоеванный (...)

Это мой прадед Константин Иванович Перевозников, который был сослан в Ташкент, что по тем временам, как и Салтыкову-Щедрину, совершенно не помешало ему стать действительным статским советником и впоследствии инспектором народных училищ в различных губерниях: в Закавказье, в Тифлисской губернии, в Киевской губернии, на своей родине в Воронеже, хотя до самой революции ему не разрешалось жить в столицах. И я так подробно об этом рассказываю, потому что с его педагогическими интересами тоже были связаны не только знакомства с Поленовым или еще с кем-то, но и интересы, скажем, образовательные. На сестре моего прадеда, Любове Ивановне Булгаковой, был женат наместник на Памире генерал Арсеньев, которому как казачьему генералу было дано 20 километров побережья около Нового Афона. Это была старая интеллигентная русская семья. Ничего они там не построили, но зато еще в конце XIX века он там вел раскопки... А это ведь есть скифский путь знаменитый...



Константин Иванович Перевозников (прадед). На Турецкой войне. Карандаш, бумага

А.Г.: А ваш интерес к археологии оттуда, можно сказать?

С.Г.: Да, мой интерес, в общем, буквально из всех частей... Ковры, которые у нас лежат и кажутся коллекционными, по сути такими и являются, это мой прадед восстанавливал ковроткачество в училищах, подведомственных ему, в Закавказье. А потом сам покупал их у учеников. И этот зеркальный шкаф ореховый — это тоже опять-таки мастерские, которые он делал, мебельные, в училищах, и тоже покупал.

То есть все это переплеталось... Бесспорный и постоянный интерес к русской культуре, не говоря о том, что именно Константин Иванович привел ссыльного студента Павла Елисеевича Щеголева, известного историка и драматурга, который только что вернулся из ссылки в Вологде к великому князю Константину в Батуми, благодаря чему не главный историограф России, а именно этот только что вернувшийся из ссылки студент, получил разрешение ознакомиться и опубликовать дело декабристов и дело Грибоедова, которые были совершенно секретны. То есть это была такая народническая среда, и, естественно, бабушка моя училась на Бестужевских курсах. (Я мог бы еще довольно много чего рассказать.)



Сергей Павлович Шенберг (дед) — профессор Киевского политехнического института

Как и все в этой в общем неплохой дворянской русской семье, дети вышли замуж... Сестра моей бабушки — за поляка, правда, графа Чернецкого, но все равно... тоже переселенного в Воронеж после восстания Костюшко. Другая ее сестра — за Бродского. А бабушка моя вышла замуж за моего деда Сергея Павловича Шенберга, который был из довольно странной еврейской семьи. Для того, чтобы жениться на моей бабушке, он перешел, по-моему, в лютеранство. Причем сначала его родители были категорически против таких браков. Но вот один из портретов, который у меня в спальне висит, — это портрет его сестры, которая умерла от любви. Это посмертный портрет.



Софья (сестра деда), «умершая от любви». Посмертный портрет. Бумага, карандаш

” Родители ей запретили выходить замуж за человека, которого она считала своим женихом и в которого была очень влюблена, и через две недели она умерла.

После этого родители уже никому ничего не запрещали, причем прабабушка моя по этой линии — вот ее портрет — Дора Акимовна, была из Вены. И это портрет. В целом это была очень богатая венская еврейская семья. Достаточно сказать, что ее братья ездили шестерней, что в России вообще запрещалось — когда шесть лошадей одна за другой, а в России это разрешалось только государю-императору. А в Австро-Венгрии, более либеральной, просто богатые люди могли себе это позволить.



Дора Акимовна Шенберг (Сыркина) (прабабка). Вена, 1870. Холст, масло

”

Но кроме этого ее дядюшкой был известный композитор Карл Черни. То, как она играла на рояле, нравилось Листу, который бывал в нашем доме. И у нас где-то есть ноты с его пометами.



Арон Давидович Шенберг (прадед)

То есть это была такая старая [семья]... Я думаю, что в Киеве после Вены моей прабабке не было особенно интересно, но, тем не менее, уж как есть. А ее муж, почему, собственно говоря, и разрешили выйти за него замуж, был один из первых, пяти, по-моему, первых евреев в России, который получил в России высшее образование. Это Милютин, как вы знаете, такой инициатор александровских реформ, добился разрешения, правда в очень небольшом количестве, принимать евреев без крещения, в отличие от деда Владимира Ильича в императорские учебные заведения. И мой прадед, Арон Давидович, закончил Технологический институт в Петербурге, что по тем временам для еврейской среды, да еще в России, конечно, имело большое значение. Сам он был из, по-видимому, очень богатой тоже, но бердичевской еврейской семьи. И как ни странно, из моих еврейских родственников наиболее известен мой двоюродный дед, как раз теоретически происходящий из Бердичева... Это знаменитый режиссер и актер Александр Санин, один из основателей МХАТа, один из первых кинорежиссеров. В России он снимал «Поликушку» с Москвиным, [был одним] из режиссеров Мариинского театра и Малого, потом Гранд-Опера и руководивший вместе с Тосканини Ла Скала. Как о нем писали: «Он перенес в Европу красоту и дисциплинированность массовых сцен императорских театров», чего не знала Европа, и поэтому его спектакли вызывали такой же фурор, как концерты Шаляпина. С которым, впрочем, он был дружен, и у меня есть какая-то автокариатура Шаляпина на самого себя.



Федор Шаляпин. Автошарж. Акварель, бумага

Об увлечении коллекционированием

То есть это была очень разнообразная, действительно вполне соответствовавшая имперскому характеру России семья. И в каждой ее части был очень большой интерес к искусству. И поскольку и мой дед, и моя бабушка были старшими в своих семьях хоть что-то, несмотря на революции, несмотря на войны, все-таки уцелело. И поэтому я вырос среди, с одной стороны, бесспорного уважения к культуре и некоторых коллекционных страстей бесспорных. Во-вторых, и даже некоторых просто вещей, которые, в конечном итоге, были какой-то семейной коллекцией, идущей практически с середины XIX века. Надо сказать, что такое разнообразие коллекций относительно [нехарактерно] для России, где ничто не сохраняется, древность, привела к тому, что и мне самому было все интересно.

” И в результате коллекция, которую я, конечно, пополнил, сейчас сформировалась в два отдельных комплекса живописи и графики, на уровне какого-нибудь приличного областного русского музея. Хотя, в общем, музея, где был бы Фра Беато Анджелико, я не знаю, кроме Эрмитажа.

И археология Российской империи во всем ее протяжении. Одни культуры представлены лучше —

как скифы, как готы... как мусульманское стекло, скажем. Другие не так обстоятельно. Но, тем не менее, в отличие от всех государственных коллекций, кроме Исторического музея и Эрмитажа, то, что сформировалось у нас в доме, это не коллекция, пусть даже самая замечательная, но тем не менее связанная только с одним регионом, как, скажем, в Новгороде или в Краснодаре, а так или иначе охватывающая все культуры бывшей Российской империи, теперь сильно сократившейся.

Ну, что вам еще рассказать?

А.Г.: А вы помните первую вещь, которой вы пополнили семейную коллекцию? И, так сказать, когда вы уже сами начали пополнять коллекцию, в каком возрасте?

С.Г.: Это очень трудно сказать, потому что среди других коллекций у моего деда была гигантская коллекция марок, одна из самых крупных в России. И вообще, у него был билет Союза филателистов №1 РСФСР.

А.Г.: А он у вас сохранился, да?

С.Г.: Да, где-то сохранился, да, есть такой. Естественно, начиналось с этого, потом были какие-то рисунки и гравюры, которые я покупал, учась в авиационном институте в Риге, институте ГВФ. Потом был пейзаж ночного Парижа Коровина и большая акварель Чехонина с букетом, которую я подарил своей жене, когда женился. То есть для меня это было вполне естественно... А параллельно, конечно, были еще книги, и старые, и с автографами... В общем, коллекционная среда была для меня естественной, но что для меня всегда было очень важным: она никогда не была не только единственной, но даже самой важной в жизни. Когда книгу о бесспорно хорошем коллекционере Соломоне Абрамовиче Шустере (или как его тогда в отличие от отца называли Шустеренке — отец тоже был и замечательным коллекционером и еще петербургским архитектором). Книгу назвал я думаю, Дудаков, издававший ее, «Профессия — коллекционер». Я думаю, что и Соломон Абрамович бы обиделся... поскольку он был, может быть, не очень крупный, но все-таки кинорежиссер, и для него всю жизнь это было важно. Ну, уж для меня всегда были важны какие-то другие вещи. Когда после первого ареста...

А.Г.: В каком году?

С.Г.: В 75-м году. Это отдельный рассказ, если можно.

А.Г.: Да.

С.Г.: Просто встал выбор... На самом деле никто меня не собирался сажать, меня просто хотели сделать осведомителем: родственники за границей, знакомства с Шаламовым, с Некрасовым, с Параджановым, переписка с заграницей, получение не только писем, но даже газеты русской из Парижа — в общем, это для 60-х — начала 70-х годов было нечто совершенно возмутительное.

И с точки зрения КГБ я просто должен был сотрудничать с ними. Но никак объяснить мне это им не удавалось. И меня на самом деле арестовали только для того, чтобы пугнуть.

Но все равно из этого ничего не вышло, но передо мной был вполне внятный выбор. Я понимал, что ничто не сохранится. И сформулировал для себя не забытую до сих пор фразу, что в жизни есть вещи более важные, чем коллекции. Хотя трудно сказать... Господи, не сравнивая себя, конечно, ни в коем случае с теми людьми, которых я сейчас упомяну, но... Как с уверенностью сказать, что Столыпин для России важнее Третьякова? Не так много осталось от Столыпина, может быть, от Третьякова даже больше. Но, тем не менее, для меня это был в течение всей моей жизни — и остается — очень важный принцип.

Я занимался литературоведением, я одно время работал в журнале «Юность». Потом, редактируя подпольный бюллетень, мне пришлось работать оператором в газовой котельной в Боровске. Потом

я был поглощен с раннего утра до поздней ночи делами «Гласности», правозащитными. В общем, это всегда для меня было на первом месте.

О поэтических вечерах 1960-х годов. Знакомство с Ахматовой и Харджиевым

А.Г.: Но, тем не менее, вы играли важную роль также в художественной среде. Можете немножко рассказать о... Ну, не буду говорить «лихих 60-х», но все-таки о том времени, когда вы делали выставки...

С.Г.: Выставку я сделал только одну. Это время было... В это время еще никакой русский авангард вообще не признавался, всячески обругивался. Даже Мариэтта Шагинян в своей статье в «Литературной газете» однажды написала, что все эти формалисты не только враждебны были всегда России и ориентировались на Запад, но и все уехали на Запад. На что Анна Андреевна Ахматова только коротко заметила: «Ну, неужто, Мариэтточка, ты не помнишь, как мы вместе шли за гробом Казимира?»

А.Г.: А, кстати, вы общались с Ахматовой?

С.Г.: Да. Ну, дело в том, что еще перед выставкой... Я в конце концов решил, что несмотря на такие физико-математические традиции в нашем доме мне скучно этим заниматься, и более менее случайно, не очень желая этого, поступил на факультет журналистики МГУ. Но поскольку, с одной стороны, я был старше своих сокурсников даже по возрасту на несколько лет — в ранней молодости это имеет значение. А с другой стороны, по самой среде и по самому воспитанию я был существенно старше их и принадлежал, в общем-то, к совершенно другому кругу людей, то я тут же начал сначала проводить вечера «забытой поэзии» на факультете журналистики. Это так деликатно называлось, но на самом деле это были вечера расстрелянных поэтов. Первым из них, я думаю, где-нибудь в сентябре 64-го года был вечер Мандельштама, который полностью провел — это было до этого большого вечера, который провели физики в высотном доме, — Саша Морозов. А потом в 16-й аудитории более менее регулярно, пока меня с факультета, не то, что окончательно не выгнали, но перевели на заочный, шли вечера поочередно московских и ленинградских расстрелянных поэтов, среди которых были Хармс, Николай Олейников, Пулькин... Сейчас наконец изданный Сережа Чудаков, еще неизвестный никому как поэт, выкрикивал что-то о статьях, по-моему, в «Нью-Йорк таймс» на вечере Олейникова. Это я недавно случайно встретил в воспоминаниях Олега Михайлова о Сереже Чудакове. И я предложил и Анне Андреевне придти к нам. Я был в хороших отношениях с Любовью Давыдовной Стенич, то есть на самом деле... Большинцовой... Стенич она была по мужу. Муж был расстрелян — это был знаменитый русский денди, Валентин Стенич, переводчик Джойса и Дос Пассоса. И она была дружна с Анной Андреевной еще с петербургских времен и периодически Анна Андреевна останавливалась у нее. И Любовь Давыдовна замечательно говорила: «Когда Аня засыпала, у нее в груди что-то хрипело и как бы рвалось наружу. Это рвались наружу стихи». У Любви Давыдовны была маленькая двухкомнатная квартирка, во второй комнате жила, тогда еще жива, ее мать, урожденная Шереметьева, из воронежских Шереметьевых. С моей бабушкой они, кажется, учились вместе и этого как бы было достаточно. И когда Эмма Григорьевна Гернштейн вспоминает еще о каком-то знакомом Николая Ивановича Харджиева, у которого была бабушка, я боюсь, что она имеет в виду меня. Хотя с Эммой Григорьевной мы были, в общем-то, довольно хорошо знакомы, и она могла бы... что-нибудь вспомнить.

Но Анна Андреевна отказалась. Я к ней пришел в этот пенал по лестнице, где запах Ордынки, где запах кошек просто стоял туманом висевшим. И там все было характерно. Анна Андреевна... Как это замечательно описала Лидия Корнеевна Чуковская, не то, что не могла, — она не хотела ориентироваться в этом мире.



И, увидев меня, донашивающего студенческую форму Института гражданского воздушного флота, она тут же решила, что я человек в форме, государственный, значит. И начала со мной, мальчишкой, советоваться: «Как вы думаете, Таганцева реабилитировали. Может быть, и Колю скоро реабилитируют?» Я не сразу сообразил, что она говорит о Гумилеве.

А потом достала... Мы с ней до этого когда-то говорили о «Четках», она сказала: «А вот вы вспоминали „Четки“» И она достала с полки книжку «Тысяча и одна ночь», но «Тысяча и одна ночь» там была только переплет, а в этот переплет была вплетена белая бумага, и туда Анна Андреевна записывала свои воспоминания. И она начала читать: «Это было в городе, которого уже нет. Это было в стране, которой уже нет. Это было в Петербурге, в России в 1913 году...» Это был рассказ о том, как отмечался юбилей «Четок». А когда я ее попросил прийти в Университет, она меня внимательно выслушала, расспросила, как это будет, какая аудитория. Ну, аудитория, на 1000–500 человек такая, амфитеатр, 16-я аудитория. Я ей все это рассказал, как проходят эти вечера, как выступают люди... В общем, по-разному. Но Анна Андреевна сказала: «Нет! Так вернуться в Московский университет, в Московский университет я не могу». Она отказалась. Кстати говоря, она тоже сыграла роль в том, что мое знакомство с Николаем Ивановичем Харджиевым было таким долгим: 12 лет мы с ним встречались раз в две недели, чаще, чем кто бы то ни было вообще.

А.Г.: А как и когда тогда вы познакомились?

С.Г.: Дело в том, что нашими близкими друзьями с женой были замечательные художники и очень крупные коллекционеры Татьяна Борисовна Александрова и Игорь Николаевич Попов.



Кроме того, что они были замечательные художники, первоклассные и кроме того, что в их коллекции был автопортрет Рембрандта и водку мы пили за столом, сделанным Петром Первым и подаренным Меньшикову... Да нет, у меня хорошая коллекционная школа!

А.Г.: А расскажите!

С.Г.: Давайте я все-таки договорю... Татьяна Борисовна была первой женой Льва Федоровича Жегина, одного из великих, хотя и явно недооцененных, русских художников... тончайшего, изысканного, по-настоящему православного и духовного. И к тому же совершенно негибкого. В 30-м году он понял, что для художника больше нет места в этом кровавом и варварском обществе. И больше никогда не предложил ни на одну выставку ни одну свою картину, хотя как раз они, может быть, и прошли бы, поскольку он не был художником ни беспредметным, ни даже особенно... И начал писать книгу, которую, по-видимому, он обдумывал еще в разговорах с Павлом Флоренским, о структуре русской иконы. Это знаменитая такая книга. Татьяна Борисовна меня привела ко Льву Федоровичу, у которого висели картины и Ларионова и Чекрыгина. А Лев Федорович когда-то, зная мои коллекционные страсти, сказал мне, что, наверное, у Николая Ивановича [Харджиева], у которого большие запасы, может быть, он что-нибудь и уступит. А на самом деле я 12 лет просто покупал еще к тому же у Харджиева, иногда шедевры русского авангарда, иногда более второстепенные вещи. Просто очень много. Вначале это были попеременно я и Костаки, потом, наверное, только я, потом, когда меня арестовали, появились какие-то иностранцы, уже все было иначе.

А.Г.: А с Костаки вы у Харджиева познакомились или раньше?

С.Г.: Нет, с Костаки я был знаком и без того. У Харджиева я вообще ни с кем никогда не познакомился,

потому что он никогда не назначал встреч, если в это время был кто-то другой. Так же, как, скажем, Шаламов не то, что не назначал встреч — он просто говорить не мог, когда в комнате было [еще] два человека.

” А у Шаламова это была чисто лагерная привычка: два человека — это уже два свидетеля, свидетельство одного можно опровергнуть, а два в приговоре считается достаточно.

Плюс к этому, я еще и Анне Андреевне пожаловался на Харджиева... Я в это время занимался Андреем Белым, сделал первую публикацию Андрея Белого в «Дне поэзии», по-моему, за 64-й год. И еще не понимая ни того, как работал Мандельштам, ни всего массива его рукописей, по тем перепечаткам, которые у меня были, я считал, что есть окончательный вариант стихотворения «Памяти Белого», но Николай Иванович его не хочет показывать, а я знал, что все рукописи у него. А к тому же на вечере Хармса... В общем, было у нас желание восстановить пьесу «Елизавета Бам», хармсовскую. И у меня был текст ее от Николая Леонидовича Степанова. Но у Николая Леонидовича не было концовки. И было непонятно, не хватает тут двух строк или двух страниц.

” И Николай Иванович Харджиев, опять таки, не показал, хотя было точно известно, что у него есть рукопись «Елизаветы Бам». Анна Андреевна меня внимательно выслушала и сказала: «Ну, мне Николай Иванович покажет». И, по-видимому, действительно что-то ему сказала. Хотя он так и не показал.

Относительно Андрея Белого на самом деле он вполне правильно сказал, что окончательного текста не существует, что существуют просто несколько вариантов. А о «Елизавете Бам» он сказал: «Вы знаете, это у меня где-то так далеко, я не могу найти сейчас» (*смеется*). Он вообще никогда не показывал ничего, кроме того немногого, что висело на стенах в его кабинетике и того, что он хотел продать.

А.Г.: А что висело на стенах?

С.Г.: Ну, на стенах... Над дверью всегда висел — это была единственная вещь, которая никогда не снималась, — это был «Красный квадрат», подаренный Малевичем Николаю Ивановичу. И он всегда об этом говорил. И если другие вещи на стенах варьировались, то «Красный квадрат» не снимался никогда. Иногда висел большой акварельный костюм к «Победе над Солнцем» (*показывает*). Иногда висел небольшой, тоже Малевича... такой пейзажик вертикальный, импрессионистический. Когда я спросил Николая Ивановича, какого он года, он не ответил на этот вопрос. Он сказал, что импрессионистические вещи Малевич писал в течение всей своей жизни, что русские искусствоведы поняли с опозданием так лет на 30. Чаще всего висела дивной красоты лучистская композиция Гончаровой. Она была повреждена, у нее были осыпи, все равно она была замечательно как хороша. К сожалению, — я ее видел в Амстердаме, — она совершенно испорчена грубой реставрацией. Я не знаю, где это делали... то ли в России, то ли в Амстердаме уже, но такого ощущения, как было тогда, нет совсем. Довольно часто висели «Голубые крыши» Розановой, тоже большой холст горизонтальный. Иногда висели еще какие-то вещи. Иногда висела карандашная голова Эндера, которую он очень любил. Иногда портрет самого Николая Ивановича работы Бурлюка, который сделал Бурлюк, когда приезжал в Москву. Еще какие-то вещи, они могли меняться. Иногда замечательной красоты акварельная композиция, которую Николай Иванович очень любил, Розановой, супрематическая, беспредметная. Об этом отдельно много можно рассказывать, но о Николае Ивановиче я очень много написал, так что, на самом деле, сейчас я повторяю то, что вы сможете прочесть.

О коллекциях Сарабьянова

Вы меня спрашивали о Дмитрие Владимировиче Сарабьянове?

А.Г.: Да, о его коллекциях.

С.Г.: Это одно из незабываемых моих впечатлений, потому что к Сарабьяновым меня привела по просьбе той же Татьяны Борисовны когда-то близкая к Татлину художница Лабунская, которая потом уничтожила все свои вещи. И у нее самой висел только Ларионов, Жегин... стояли скульптурки Сарры Лебедевой, русские резьбы. Но однажды она договорилась с Муриной... и привела меня... и они привели меня к Сарабьяновым. Но это была не та квартира, которая теперь. Ведь тещей Сарабьянова была тоже во многом замечательная дама, потом помогавшая Солженицыну, очень известная в диссидентских кругах. А до этого как бы ведшая хозяйство у Веснина. И когда Веснин умер...

А.Г.: А какого из Весниных?

С.Г.: Ну, главного, Александра Веснина, который был президентом Академии архитектуры*. А он был влюблен в Любовь Попову. И когда он умер, он завещал всю свою... квартиру, где и рисовал... она была прописана, и всю свою коллекцию, и все, что было, теще Дмитрия Владимировича, матери Муриной. И... А это была квартира в два раза больше, чем теперь. Теперь она, к сожалению, разделена на две части. Отделена квартира для сына.

* Первым президентом Академии архитектуры СССР был Виктор Александрович Веснин. — Ред.

”

Это была гигантская квартира, где в глубине анфилады висел совершенно ошеломляющий, неровный гигантский прямоугольник Любви Поповой, которого забыть нельзя, и ничего равного ни в Третьяковской галерее, ни вообще нигде просто нет.

И это был, простите меня, 63-й год. А кроме этого там было множество других вещей Поповой, а кроме этого там были вещи Татлина, а кроме этого там... ну, и так далее. В общем, там было множество вещей самого высокого класса, которые просто в то время увидеть было невозможно. Потом уже, в 65-м году, я, работая в журнале «Юность», сам себе выписал направление на осмотр запасников Третьяковской галереи. Но даже запасники не производили такого впечатления, потому что многое было свернуто в рулоны, это не стояло, это не висело... И с тех пор, изредка мы виделись с Дмитрием Владимировичем и с Натальей Борисовной. Последний раз Наталья Борисовна привела ко мне уже свою внучку, считая, что и у меня есть что-то интересное...

Выставка 1968 года

А.Г.: А про выставку в 68-м году расскажете?

С.Г.: С выставкой 68-го года тоже все было... С одной стороны, конечно, я был на заочном, меня еще не выгнали окончательно, потому что не кончил наш курс. И они боялись, поскольку мы все вместе пили водку и поскольку я всем давал билеты на вечера Окуджавы, Евтушенко и так далее, и так далее, и так далее...

А.Г.: А вы были уже знакомы, да, и с Окуджавой, и с Евтушенко?

С.Г.: Да, конечно. Я работал в журнале «Юность», заведовал отделом критики, чего вы от меня хотите? (Усмехается.) Ну, недолго, но тем не менее. В общем, они считали, что на нашем маленьком факультете, где я каждого знаю, просто так... не дай бог, кто-нибудь будет возмущаться.

Как меня выгоняли, — это отдельная забавная история. Но весной 68-го года я, тем не менее, уговорил

нескольких ребят пойти к администрации высотного дома и получить разрешение на устройство выставки. Ну, выставки — выставки... Вписал туда трех художников: Льва Жегина, Веру Пестель и Татьяну Александрову.

А.Г.: А откуда были работы сами для этой выставки?

С.Г.: Это я, может, расскажу как-нибудь. А перед этим была выставка Одноралова, которая не вызывала никакого особенного интереса, и поэтому администрация, в общем, не зная никаких имен без большого труда это разрешила. В большой гостиной... Там такие длинные узкие двухцветные гостиные между двумя этажами. По-моему, между пятнадцатым и шестнадцатым этажом.

А.Г.: Там где общежития?

С.Г.: Да, там где общежития, в высотном доме. И там есть еще такие отдельно выгороженные гостиные. С Татьяной Борисовной я был просто дружен, и вообще тут никаких проблем не было ни при какой погоде, и вон там висит новогодняя, рождественская ее картина с двумя персонажами, и потом она мне объяснила, что это я и моя жена. А со Львом Федоровичем я тоже был хорошо знаком и был дружен, и, в общем, никаких сомнений это не вызывало. Немножко более трудными были разговоры с дочерью Веры Пестель. С ней я знаком был, но она все сомневалась, а не пропадет ли что. А в это время художников русского авангарда не воровали. Я не могу забыть замечательный рассказ Чегодаевой о том, как после выставки Бехтеева... каких-то иллюстраций... они собрались в полуподвальной комнате у Бехтеева, чтобы это отметить, и Бехтеев, выставившийся в Париже, выставившийся в Берлине, — вообще, художник с большим разнообразным опытом выставочной деятельности, с какой-то такой тоской сказал, что все эти выставки создают столько неудобств, и так трудно все это оформлять... Для него это, в общем, не имело значения. А сидящий рядом с Чегодаевой приятель Маяковского, художник Черемных... они вместе делали окна РОСТА... в это время ставший совсем советским и делавший такие уже совершенно реалистические плакаты, забывший о всяком своем советском футуризме... с такой тоской сказал: «А вот у меня с выставок никогда ничего не воровали...» (*Смеются.*)

Татьяна Борисовна и Лев Федорович, который, правда, уже не выходил, по-видимому, по телефону вполне сумели убедить и дочь Пестель. А там все дело было в том, что эти гостиные очень четко разделены на три части двумя дверьми — правую, левую и центральную. В общем, выставка трех художников просто напрашивалась по самой архитектуре. Плюс к этому Вера Пестель входила в группу «Путь живописи», и на все ее позднее творчество, конечно, оказал очень большое влияние Лев Федорович. И в свою очередь девочкой Татьяна Борисовна Александрова училась у Пестель, когда та преподавала в историческом музее. То есть это были внутренне объединенные художники. И весной 68-го года мы открыли эту выставку. Она была в ряду тех выставок, которые начал Харджиев своими выставками в музее Маяковского, и продолжал там за месяц до этого. В 67-м году была очередная выставка Николая Ивановича, то есть это все шло... И начал устраивать выставки такой коллекционер Рубинштейн... Вылетело из головы имя-отчество, потом вспомню*. Его племянником был референт Капицы, что ему позволяло устраивать выставки в Институте физических проблем, в так называемом «капишнике». И поскольку он был одним из первых коллекционеров русского авангарда... Всех нас было тогда, я не знаю, семь человек или пять...

* Яков Евсеевич Рубинштейн. — Ред.

А.Г.: А можете назвать недостающие фамилии? Кто это получается?

С.Г.: Шустер, Санович, в Киеве Ивакин, в Ленинграде... вылетело из головы. В общем, так или иначе, это был очень узкий круг.

А.Г.: И вы всех их знали?

С.Г.: Более или менее да, конечно. Кого-то лучше, кого-то хуже.

Если бы вы сделали перерыв, я бы вам показал пригласительные билеты в том числе и на выставку Рубинштейна, в том числе и на выставку Харджиева.

